

Иоанна Неаполитанская

1343—1382

В ночь на 16 января 1343 года мирный сон неаполитанцев был внезапно нарушен колокольным звоном всех трех сотен церквей этой благословенной столицы. Посреди всеобщей растерянности, причиненной столь внезапным пробуждением, легко было вообразить, что Неаполь с четырех концов охвачен огнем или что вражеская армия, таинственным образом высадившаяся на берег под покровом ночи, намеревается вырезать всех его жителей до единого. Однако очень скоро стало известно, что этот скорбный, повторяющийся через равные промежутки времени перезвон призывает верующих помолиться за умирающего и городу ничто не угрожает — в опасности один лишь король.

Уже не первый день в замке Каstell-Нуово царило сильное беспокойство: высочайшие сановники королевства дважды в день собирались на совет, а вельможи, наделенные привилегией посещать монаршие покои, выходили оттуда обремененные глубочайшей грустью. Смерть короля — неизбежное зло, однако, когда не осталось сомнений в том, что он умирает, неаполитанцы испытали искреннее огорчение, которое читателю будет легче понять, если мы добавим, что тот, кому вот-вот предстояло отойти в мир иной после тридцати трех

лет и неполных девяти месяцев правления, был Роберт Анжуйский — самый справедливый, мудрейший и славнейший монарх из всех когда-либо занимавших трон Сицилии. С собой в могилу он уносил сожаления и похвалы всех своих подданных.

Солдаты с воодушевлением вспоминали продолжительные войны, которые он вел против Федерико и Педро Арагонских, Генриха VII и Людвига VI Баварского, и сердца их стучали в унисон при воспоминании о славных походах в Ломбардию и Тоскану; духовенство превозносило короля Роберта в благодарность за то, что он неизменно защищал Святой престол от атак гибеллинов, и за все те монастыри, больницы и церкви, которые он основал в своем королевстве; мужи науки считали его самым просвещенным королем христианского мира, и только лишь из его рук Петрарка пожелал принять лавровый венок поэта, а потом три дня отвечал на вопросы касавшиеся всех отраслей знаний, которыми король Роберт его удостоил; правоведы, восхищенные мудростью законов, которыми благодаря его величеству обогатилось неаполитанское законодательство, нарекли его Соломоном своего времени; аристократия радовалась всем тем мерам, что были им предприняты ради сохранения ее привилегий; простой люд прославлял его великодушие, набожность и доброту. И все они — священники и солдаты, ученые и поэты, вельможи и плебеи — с ужасом думали о том, что бразды правления теперь перейдут в руки чужестранца и юной девушки, и вспоминали слова Роберта, который, следуя за гробом своего единственного сына Карла, на пороге церкви обернулся к баронам королевства и в слезах воскликнул:

— Сегодня корона упала с моей головы! Горе мне! Горе вам!

И пока колокола звонили по умирающему королю, все умы были заняты этим пророчеством. Женщины истово молились, мужчины со всех концов города сходились к монаршему дворцу за самыми последними и достоверными новостями. Однако после недолгого ожидания, едва успев поделиться друг с другом своими печальными размышлениями, они были вынуждены разойтись — что в эти минуты происходило в лоне королевской семьи, так и осталось тайной за семью печатями. Замок погружен был в полнейшую темноту, мост, как обычно, поднят, и все стражники находились на посту.

Однако, если читателю любопытно узнать, как прошли последние минуты жизни этого короля, приходившегося племянником Людовику Святому и внуком Карлу I Анжуйскому, мы можем ввести его в покои умирающего. Подвешенная к потолку алебастровая лампа освещает просторную и угрюмую комнату со стенами, обтянутыми черным бархатом с вышитыми на нем золотыми геральдическими лилиями... У стены, которая смотрит на две двери, ведущие в другие комнаты и в данный момент закрытые, под парчовым балдахином стоит кровать из эбенового дерева с четырьмя витыми, выточенными в виде символических фигур столбиками. Король, изнуренный жестоким приступом, без чувств упал на руки неотлучно находящимся при нем исповеднику и лекарю, которые, стоя по разные стороны кровати, держат его за запястья и, обмениваясь понимающими взглядами, с тревогой подсчитывают пульс. У изножья кровати, соединив руки в молитвенном жесте и воздев очи горе с выражением скорбного смирения, замерла женщина лет пятидесяти. Это королева. В глазах ее нет слез, а впалые щеки приобрели желтоватый восковой оттенок, какой мы видим у святых, чьи останки

чудом остаются нетленными. Под внешним ее спокойствием сложно угадать страдания, которые возвышают душу, истерзанную болью и укрощенную религией. На протяжении часа никто и шорохом не нарушил глубокой тишины, повисшей над ложем умирающего. Наконец король едва заметно вздрогнул, открыл глаза и попытался поднять голову. Улыбкой поблагодарив лекаря со священником, бросившихся поправлять подушки, он попросил королеву приблизиться и взволнованным голосом сказал, что хотел бы ненадолго остаться с ней наедине. Лекарь и исповедник с низким поклоном удалились, и король провожал их взглядом, пока за ними не закрылась одна из двух дверей. Тогда он провел рукой по лбу, словно желая прогнать слишком навязчивую мысль, и, собрав последние силы, произнес такие слова:

— То, что я хочу вам сказать, сеньора, не предназначено для ушей достопочтенных господ, только что покинувших эту опочивальню; их труды окончены. Один из них сделал для моего тела все, что человеческое знание ему подсказывало, но не получил иных результатов, а только продлил еще ненадолго мои мучения; другой освободил мою душу от всех грехов и пообещал прощение Всевышнего, не сумев при этом избавить меня от зловещих видений, встающих перед моим взором в этот роковой час. Дважды вы видели, как я содрогался под гнетом нечеловеческой боли. Лоб мой был весь в поту, руки и ноги одеревенели, рот словно бы зажала чья-то железная рука... Не злой ли это дух, которому Господь наш позволил испытать меня? Не угрызения ли совести, принявшие вид призрака? Как бы то ни было, две битвы, которые я выдержал, настолько подорвали мои силы, что в третьей мне не устоять. Слушайте же меня, моя Санча!

Я хочу оставить вам кое-какие распоряжения, от исполнения которых, возможно, будет зависеть вечный покой моей души.

— Мой господин и повелитель, — заговорила королева голосом, исполненным нежнейшей покорности, — приказывайте, я внимательно слушаю. И если Господь, чьи глубочайшие помыслы от нас сокрыты, пожелает призвать вас в горний мир, а нас повергнуть в скорбь, ваша последняя воля будет исполнена на земле со всем возможным тщанием. Но позвольте мне, — продолжала она со всей заботой и искренней верой в могущество высших сил, — позвольте окропить святой водой эту комнату, чтобы изгнать из нее зло, а после я прочитаю отрывок из молебна, сложенного вами в честь вашего святого брата, моля его о покровительстве, когда мы так отчаянно в нем нуждаемся!

И, открыв книгу в богатом переплете, она с самым искренним благоговением прочла несколько строф молитвы, написанной Робертом на изящной латыни для брата Людовика, епископа Тулузы, — той самой, которую читали в церквях вплоть до Тридентского собора.

Убаюканный благозвучием стихов, им же сложенных, король едва не забыл о предмете разговора, которого просил с такой величавой настойчивостью. Предавшись безотчетной грусти, он глухо прошептал:

— О да, правда ваша! Помолитесь за меня, сеньора, ведь вы — святая, а я — всего лишь бедный грешник!

— Не говорите так, ваше величество, — перебила его донна Санча. — Вы — величайший из монархов, самый мудрый и самый справедливый из тех, кто когда-либо восходил на трон Неаполитанского королевства!